

Валерия Иванова

ДВА РАССКАЗА

О МАТЕРЯХ И АНГЕЛАХ

Мать моя, идя из роддома по улице Богграда, думала так: бог рад — хорошее название, годится для улицы, и для памяти хорошо, пусть люди хотя бы в этом городе не забывают — было и здесь такое время, когда бог, глядя на них, радовался.

Она дошла до угла, свернула на Бытовую. Ангара за спиной встала на дыбы и исходила паром; ноябрь мелся рядом, сырой, несвежий, и откупиться бы мелочью, да карман пустой. Мать почти бежала, и кто бы стал догонять женщину в вытертом пальто, с казенным свертком в руках, и рассказывать ей, дрожащей, про Якова Богграда, расстрелянного в девятнадцатом году белогвардейцами, пропагандиста, с революционной осени семнадцатого по август восемнадцатого, когда Центросибирь прекратила существование на станции Урульга, кричавшего в народ, в самую его гущу, что бога нет, и надо бы, братцы, поднатужиться самим, тогда и выстроим жизнь новую, такую, которой и сам бог, когда б он был, радовался.

Мать бежала, крупа поземки пугалась под ногами. Казенное одеяло в штампах роддома промокло, материным пальцам стало горячо и тут же — до ломоты холодно. Сверток завозился, кряхтенье сменил плач, и она бежала, огибая капканы улиц, тупиков и переулков, к остановке. Автобус номер девять «Центральный рынок — Радищева», красно-белый ЛиАЗ, дождался на углу, подхватил, в кашле пневматики схлопнулись двери, отрезав мать от перешедшей в метель поземки. Козырек остановки уходил в даль, в ранний ноябрьский мрак, и там на ледяной скамье стыла старуха в черном, с нездешней прямоотой спины, достаточной, чтоб помнить жизнь, какой та была до Богграда, помнить церковь, заложенную в одна тысяча семьсот сорок первом году на деньги купца Глазунова. Церковь выстроили из камня

взамен прежней, деревянной, и назвали Чудотворской в память великоустюжских чудотворцев, святых Прокопия и Иоанна. Церковь дала имя улице, и вплоть до двадцатого года века двадцатого было оно неприкосновенно, пока третьего ноября постановлением номер пять исполкома Иркутского горсовета рабочих и красноармейских депутатов не переименовалась в Богграда. И как знать, может, тогда был такой же ноябрь, с метелью и мраком, с встающей на дыбы парящей Ангарой, как знать... Старуха стьла на скамье, автобус, сам о себе не зная, пригородный он или городской, тянулся в гору к предместью, и я засыпала, отыскав под казенными штампами Богграда крохи Чудотворского тепла, и не поручусь, но, может быть, бог был этому рад.

Мать тоже дремала, сквозь сон думая, как похожи друг на друга сибирские ноябрь и март. В марте тысяча девятьсот пятидесятого ее саму в таком же одеяле принесла домой мать. Прошла через сени в комнату, распеленала свой новый голодный, двенадцатый уже рот. Кроха проснулась, закричала. Мать взяла в углу цинковое корыто, уложила ребенка, вынесла в сени, захлопнув дверь наглухо, села к столу. Младшие притихли. Мать придвинула Верке учебник — читай! Вера, спотыкаясь и всхлипывая, начала:

— «Рукокрылые — плацентарные млекопитающие, насекомоядные. Способны к полету, могут преодолевать значительные расстояния над морем...»

Мать прикрыла глаза, следя полет незримой мыши. Вместо невиданного ею моря — котлован. Котлован полон, от воды пар, в пару тонут башенный кран и берега с арматурой, у мыши под крыльями мозоли с кулак, взмах хлесткий, как розга, и луна, пройдя сквозь кожу, теряет свет.

— Слюденеет, — шепчет мать.

— Слюденеет, — скажет Вера о своих глазах, уходя со слюдфабрики на инвалидность, но это будет позже, а пока в доме холодно, дети притихли за столом, и ребенок в сених кричит реже, тише, и крик совсем бы прекратился, не вернись с работы старшая. Рванула дверь, стянула платье и на животе, на груди отогревала посиневшее тельце, расхаживая жестко и широко от порога к печи и обратно, все — в молчании. Так же молча купала младенца в цинковом корыте — том самом, грела молоко для рожка, и, когда девочка, дважды подавившись воздухом, жадно начала сосать, повернулась к матери: жива. И мать, уронив голову на руки, наконец разрыдалась. Девочку назвали Наткой.

— Женщина! Я вам говорю: уплотняем за проезд! Проезд уплотняем, гражданочка! Пьяная, что ли?

Ната подняла глаза. Кондукторша в куртке под ремнем, с кошельком и билетными рулонами на сумке громоздилась в проходе, как индийский ритуальный слон.

— Денег нет. Я отдам, завтра отдам, можно?..

— Как это — денег нет? А чего в автобус лезла? Еще и с дитем! Чему ты его научишь? Рожают тоже... Денег нет — натурой плати! Страмина такая! Да я тя высажу на хрен!

Она орала долго, про бога и черта, которых, видать, нет, раз такое в жизни творится, орала, распаяясь до срыва голоса, и, закрывшись от пассажирских взглядов спиной, совала под казенное одеяло, в Наткины ладони и даже за ворот пальто мятые купюры и, не считая, горстями, медь.

Улица Шапова тонула в сугробах и в ступающей за матерью след в след ночи. Дорога шла в гору, мимо глухих палисадников, черных окон и рвущихся с цепи собак. Она расстегнула пальто, запахнула полы поверх свертка. Дощатый тротуар обледенел, и мать ступила на дорогу — машин здесь не бывает. Шла и думала — не с той ли кондукторшей будущий ее муж ездил на свидания? Кондукторша отрывала билеты, часто — счастливые. Павел клеивал их в Наткины альбомы с плюшевыми обложками, возле парадных портретов с ретушью. Она на этих снимках всегда была розовощекой и всегда с разными глазами — то синими, то зелеными, а то вдруг черными — сутулый мастер в фотоателье глядел поверх очков-половинок, виновато оправдывался: я так вижу. Дома и зеленый картон страниц, и фотографии с билетами Павел захлестывал наискось перьевой ручкой: «Мои черти, твои ангелы, милая, говорят нам про любовь, твои черти, мои ангелы, милая, выпускают мне всю кровь». И рисунки тушью: рогатые, глазастые, как олени, черти и гневные огнеглазые ангелы — все, как один, рукокрылые.

Дом пустой, выстуженный. Мать зажгла свет — электричество, слава богу, было; огляделась. Кровать с перилами, над перилами — гуашью нарисованный ковер: медведи, зайцы, птицы — и кайма по краю с тщательно выписанной бахромой. Ребенок под пальто завозился. Натка дыхла на руки — изо рта шел пар. Взгляд упал на цинковое корыто в углу. Она затрясла головой, прогоняя мысли и страх загнанной в угол крысы, в слабости своей готовой на все. Положила ребенка на кровать, спустилась в подпол за углем, долго шарила в

потемках — руки не держали спичек. Наконец выбралась наверх — угля ни крошки. Ударила себя ладонями по щекам — и еще, еще раз, пнула ногой корыто, опрокинув стул, била по нему кулаками, ногами в сапогах, кричала и била, пока не разнесла в щепу. Печь пылала, стало теплей. Мать стала снимать пальто, спохватилась, что дочери не слышно. Обернулась к кровати и застыла: на одеяле, поверх штампа, сидела крыса с набрякшими молоком сосками, сидела на животе ребенка, и обе они, девочка и крыса, вглядывались, внюхивались друг в друга, недвижимые, не решившие еще, кто здесь охотник.

На ночь мать взяла меня к себе, опасаясь крыс, и спали мы до утра. Спал и отец, лежал на полу у приятеля, в забытьи, во сне раз за разом проживая свой, за день до выписки случившийся кошмар у окна справочной в роддоме.

— Умерли. А вот так, да, и мать, и ребенок. Бывает такое. Мужчина, вы пьяный, что ли? Русским языком сказано — не мешайте работать.

Пьян он не был, тогда еще нет. И когда шел по улице Бюграда к Ангаре, сразу всему поверив, и когда сидел на берегу, окуная в клочующий лед руки, плотницкие, талантливые тонкопалые свои руки, был трезв. Напьется он позже, у приятеля в Радищево, неделя прогорит в запое незаметно. Будет говорить с другом, удивляясь, что слышит себя со стороны, будто стоя за дверью, как не хотел ребенка и как потом одумался, мечтал о сыне, и даже имя придумал — Алешка, и вот же, коврик нарисовал над кроватью. А родилась, сказали, девка — и померла она же.

Отплакав свое, проваливался в сон, а мать купала меня в корыте, топила печь соседским углем, пуская на растопку плюшевые альбомы, и рогатые, глазастые, как олени, черти и гневные огнеглазые ангелы, все, как один, рукокрылые, заводили огненную пляску, рука об руку, крыло к крылу.

АМАР МЭНДЭ

Героям место на войне, а война плоская, как рисунок, — ни глубин, ни далей, все на виду: вот трус, вот герой. Я герой, иду в разведку, со мной подруга, она показывает на двухэтажный дом. У земли

над подвалом отдушины — окна со склонами. Анька героев не любит — они дураки, Анька говорит:

— Слабо?

И я съезжаю по откосу.

— Ну? Видала?

— Ага, — отвечает Анька и крышку люка роняет с грохотом.

Рисунок на асфальте — штука непрочная. Мел осыпается, под ним глубина и эхо. Я не трус и не герой. Ноги отбиты, и чем-то вымазаны руки, я не вижу, но, поднимаясь, чувствую одно — восторг.

Не так уж здесь и глухо — вон наверху еще отдушина, без крышки. Пыль на свету лопатой, ряды каморок в глубине, из щелей и скважин запахи, как мыши: от гнилой картошки — спирт, нашатырь — от малярных кистей, от тряпья в углу — псина. Кладу ладонь на стену: замки на дужках, петли и на гвоздях номера. Бирка сорвалась, закачалась. На ощупь — семерка. Вот забродившее варенье в банке с трещиной. Я ее примечаю: вход на замке, каморки заперты, выключателя нет, и вряд ли кто до весны придет. Зазимую. Гниет картошка, в воздухе брага, и, если надышаться, уснешь по-медвежьи, до тепла.

Подвал, как сытый кит, во сне дрейфует. Над ним китобои в шлюпке, гарпун летит, разматывая лить, но мне, уклейке, наплевать: я китом проглочена, значит, сама теперь кит, я плыву в темноте, и, если некому обо мне спеть, спою сама. Вот уже пою. Эхо таскает по коридорам пыль, кашалот бьет хвостом, и вельбот — надвое, в лабиринте кишок кашалотовых судорога, и вдруг из-за угла утопленник. Смотрит и плывет мимо. Из сказок бабы Даши знаю имя, зову:

— Иона?

Он берет за руку, и мы всплываем на свет.

Снег падает неслышно. В овощном не по сезону абрикосы, и очереда нет. Стрелка на весах танцует, пес под шапкой снега караулит вход. У меня в руке кусок стекла, и я его роняю, а он скользит по льду сугроба — вниз, вскидываю пальцы — вверх, и на ладонях брага из малины и, как перчатка, пыль. Дверь заперта наглухо, и на замке ржавчина. За аркой на улице звенит трамвай, киваю собаке — ты тут не мерзни! — и бегу на звук.

Дома у стола чужой мужик ждет ужина. Скулы-яблоки, глаза — прорези в копилке. Который бурят — переименует его тетка, мать же говорит просто:

— Это дядя Коля.

Суп разлит по тарелкам. Трогаю ложкой луковицу, она всплывает брюхом дохлой рыбы, вареным зраком пялится в окно. На ночь расплетаю косу, кладу волосы на лицо, в них брага. Подвал зевает, качается на болте бирка с семеркой. Иона говорит, что до весны далеко. Это хорошо, — решаю я почему-то и засыпаю накрепко.

Будит солнце. По балконной кромке ходит голубь, на столе сковорода с вермишелью, поверх тушенки масла шмат. Я беру вилку.

— А школа как же?

— Сегодня прогуляешь, так мы решили.

Который бурят вытирает руки полотенцем, смотрит, размечая сектора, и оттого похож на хирурга.

— Надо нам налаживать отношения, так ведь?

Я ем, чтоб не отвечать, ем, как океан переплываю. Сковорода здоровенная, от берега до берега далеко. Глоток за себя, глоток за Иону. За Иону. За себя. Дядя Коля берет вилку, садится рядом, и берега сдвигаются.

Во дворе у него старый «Москвич», у матери отгул, и мы едем на Байкал. Мне уже десять, а на Байкале бывать не приходилось. И сейчас не хочется, но в машине тепло, а за городом, на трассе, интересно. Лес сходится к дороге тесно, будто держит трассу в кулаке. Нет ни встречных, ни попутков, видела только, как сворачивал на проселок ЗИЛ, в повороте накренился, из-за бортов, как из-под подола, вода. Потом я заснула, проснулась — та же тайга, те же петли дороги. И вот, как удар, простор.

— Ну, вот он, Байкал.

Белое поле, в борде торосов полоса воды, язык берега, на мысу деревня. Причаливаем к крайнему двору. Вода бьет в лед, грохот тяжелый, как пьяный от июля шмель — выше земли не подняться. Белые на белом лошади в дыму, как в тумане. И у калитки дым: бурятка с трубкой в зубах встречать вышла. На ней черная поверх цветастой кофты кацавейка. Трубки не вынимая, приветствует:

— Амар мэндэ.

К дому шли через двор, бестолково огромный — кусок степи в ограде. Разуваться хозяйка запретила, ходили в сапогах. Сени глухие, без света, в кухне изрубленная клеенка на столе, в банке кабачковой икры, как перо в чернильнице, ложка, карамель на подоконнике накатом, и россыпью, будто голубей собирались кормить, накрошен хлеб. Угощали соленым творогом, я полоску

раскусила, увязла зубами и, сплюнуть не решившись, ушла по дому бродить.

За кухней бездверный проем, порожек высокий, под ним просевший пол. Комната о четырех немытых окнах. У входа под тулупом топчан, тут же мое пальто и шапка пристроены. Стол на двух тумбах, кресло под пледом, на столешнице, на подоконниках, на полу по-верх половиков штабелями книги. Одна раскрыта на столе. Страницы плотные, картон прослоен вощеными листами. Рисунки тушью, контур вычерчен иглой. Веду по зазубринам пальцем.

— Смотреть смотри, руками не трогай.

Обернувшись, роняю обложку: бурятка присела на табурет, глядит в окно. Если б не трубка — музейная смотрительница точь-в-точь. В альбоме птицы, от огромных до мелочи, рисунки подписаны, но не прочесть — язык незнаком. В кухне льется в стаканы водка, здесь под футляром часов — маятник, под стеклом — стрелки и мухи, равно недвижимые. В коньячной рюмке перья похожи на шипы из поликлиники — кровь брать, и я дышу в такт маятнику, и пальцы ноют, и страшно взяться за страницу — вдруг вымажу красным?

От соседей гостя пришла, старуха Настя, сумасшедшая, в бисерном венке, в халате. Заплескала руками, зародовалась. Меньше меня ростом, все пыталась к себе на колени усадить, оглаживала:

— Вот бы мне такую дочу, маленьку.

Мать смеялась:

— Хороша маленькая! Скоро замуж отдавать. Возьмут ли еще только: характер вредный.

Бурятка губами жевала:

— Мед есть, а мухи будут.

Настя смеялась, хмурилась мать, и от разности настроений мне, как вороне на проводах, не сиделось. Сбегаю во двор, там Который бурят дрова колет, куртку скинул, от рубахи со спины пар. Мотнул головой на поленницу:

— Помогай, таскай чурбашки.

И таскала, укладывала плотно, по ранжиру. Потом щепу на растопку колола, — он научил. Умею до сих пор. После гулять пошли, вдвоем. Настя, было, увязалась, бурятка ее подсекла, вернула. Шли берегом, у самых льдов, молчали. О чем говорить? В тайгу свернули. На просеке под проводами тишина сухая, как белье на веревке. И потому я говорить начинаю: про гарпуны и вельботы, про Иону и

про кита. Который бурят слушает, потом тоже говорит: как на охоте медведя подранил и шел за ним по тайге два дня по следу, по кускам печени на лежках. Видишь, — говорит, — за сосной тень? Медведь следит. Придет ночью под окно: отдай мою печень!

Мне жаль кита, жаль медведя, но я опять герой, я ору от восторга, и мыс, как язык, вытягивает тень надо льдом и дышит по-собачьи.

Возвращаемся берегом, я слушаю историю про Настю. Сумасшедшая старуха Настя венгерский знает. Она же воронежская, в войну в оккупации была, а там не немцы, там венгры с итальянцами стояли. За язык в Сибирь пошла — этапом. Здесь венгерского не забыла, а бурятский не превзошла. Амар мэндэ запомнила, да и то на свой лад. Спроси ее: что значит? Ответит: здравствуй, жопа новый год! Так двадцать лет и долдонит. Нет, не обижаемся, привыкли. Она у матери дом снимала, с мужем жила. Он в лагере на больничке работал. От него и книги, и жуки в банках остались. Часы, альбомы, курево — мать трогать запретила. А Настя съехала, в день похорон к соседке перешла. Не могу, говорит, тут. А в гости бегаёт. Придет и с порога кланяется: амар мэндэ, здравствуй, жопа новый год.

Горизонт во льду, потому закат долгий. Пальцы мои в сапогах смерзлись, а рукам в дяди Колиных рукавицах тепло. Вот уже мыс, на мысу деревня. В доме копченый чайник, сажа на конфорке горит, искрит по-кошачьи, синим. Ноги мне в тазу согреют, в чашке саган-дайля сушеная в кипятке развернется, я, от Насти отбившись, с чашкой в котлован комнаты уйду, той, за порогом. Насте в котлован дороги нет: я, говорит, там как в могиле. Ярче лампы взойдет луна, сядет под окном медведь, а я стану комнату разматывать, как карту мира — с окраин вглубь, а если маятник под футляром начнет торопить — сверну ему шею. Я теперь герой бесповоротно и навсегда.

Ничего этого не случилось. Мать ждала во дворе, одетая, с сумкой, тащила меня к остановке, я ногами-колодками, как каторжник этапный, переступала, примерзала в автобусе щекой к окну, а мать шептала в глухое под шапкой ухо:

— Грязь непролазная, нищета. У меня, даром, что общага, стол полированный, телевизор цветной. Софу в кредит взяла, ковер на кольцах. Поди, плохо? Ну, плохо, что ли, спрашиваю? Ты что, спишь? Ну, спи.

От той деревни на мысу ни памяти, ни адреса не осталось. Где-то на Байкале, а где? И искать не стоит. Автобус вгрызается в ночь

и дрожит, Иона прикрывает глаза устало, говорит, до весны далеко. У меня в носу сухая соль, но я герой, потому не реву, а говорю всплывшему из провала городу громко, чтоб расслышал:

— Здравствуй, жопа новый год. Здравствуй.

